

В. Б. КОБРИН

ПОД ПРЕССОМ ИДЕОЛОГИИ

В наши дни любят историю и не жалуют историков. Почему? Интерес к своему прошлому у общества вырос неизмеримо. Люди вглядываются в него в поисках ответов на проклятые вопросы «кто виноват?», «что делать?» — и страстно негодуют, когда не получают «прямых» ответов. Инженеру, привыкшему к надежному миру математических правил и строгих физических законов, кажется странным, что порой нет однозначной оценки явления или события, нет точно установленной виновности или невиновности политических деятелей прошлого.

Историки действительно виноваты. Ревностное служение идеологии, а чаще официально признанным идеологам и их установкам, научные с виду сочинения, выводы которых легко угадать, прочитав лишь заголовки, учебники, вызывающие одновременно скуку, смех и негодование, — все слишком хорошо известно и слишком широко распространено. Отсюда и идет общественное убеждение: «Историк? Да еще с ученой степенью? Значит, лгун». Печально. Ибо история — социальная память человечества, а историк — ее хранитель. Вот только хранить он должен подлинную историю, а не создавать мнимую.

Боже мой, как это нелегко! И прежде всего потому, что история, даже далекая, постоянно затрагивает чьи-то интересы, а порой и эмоции. Главная беда исторической науки, как мне кажется, в стремлении поставить ее на службу не истине, не извлечению уроков из прошлого,

© КОБРИН Владимир Борисович — доктор исторических наук, профессор Московского государственного историко-архивного института.

а идеологическим или политическим целям. И уже не имеет значения, грязны эти цели или благородны, все равно путь для фальсификации открыт. Ибо возникают две правды — удобная и неудобная. А историк, отстаивающий неудобную правду, воспринимается властями или, что еще хуже, обществом как враг и предатель, в лучшем случае — как недоумок, который льет воду на какую-то не ту мельницу.

Судьба советской исторической науки, находившейся под постоянным идеологическим прессом, трагична, а по сравнению с другими науками, не раз испытывавшими тяжелый груз «мудрого руководства и трогательной заботы» партии и правительства, трагична вдвойне. Есть мнение, что биологи и физики — это по преимуществу жертвы режима, а историки — его слуги. Но ведь историкам заламывали руки посильнее, да и к тому же крутили их поочередно в разные стороны. Идеологические проработки не прекращались ни на один год, они лишь меняли свою интенсивность и объекты.

Представляю, какую хлесткую, разоблачительную статью об одном авторе можно было бы написать в 1949 г. в разгар кампании по «борьбе с космополитизмом». Она звучала бы примерно так: «Этот обнаглевший безродный космополит позволил себе дойти до гнусных и оскорбительных выпадов против великого русского народа, который товарищ Сталин назвал «руководящей силой Советского Союза». Он постарался забыть о замечательных победах великих русских полководцев — Александра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Кузьмы Минина, Александра Суворова, Михаила Кутузова, наших «великих предков» и еще в 1931 г. развязно разглагольствовал: «История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно... Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная» — стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно». Впрочем, такая статья была невозможна, ибо нашего «безродного космополита» звали ... Иосиф Виссарионович Сталин [1]. То, что считалось истиной в последней инстанции в 31-ом, стало страшной крамолрой даже не в 49-м, а гораздо раньше, во второй половине 30-х годов, когда в обиход были запущены новые пропагандистские клише. В 20-х же и в начале 30-х годов сверху еще насаждались представления об «абсолютной беспросветности прошлого». До конца 20-х годов историки старой школы продолжали более или менее спокойно работать. От них не требовали признания марксизма-ленинизма единственно верным учением, они печатали книги и статьи, преподавали. А тем временем молодые марксисты страстно спорили о закономерностях развития общества и о том, насколько те или иные положения соответствуют высказываниям Маркса, Энгельса или Ленина (пока еще не Сталина!).

Сегодня с чувством горечи вчитываешься в отчеты об этих дискуссиях. Их участники все время разоблачали друг друга, обвиняли то в меньшевизме, то в оппортунизме, то еще в каком-нибудь «изме». Даже общественный строй Киевской Руси и — что совсем удивительно — Древ-

ней Греции оказывались полем политической битвы. Например, по поводу одной из работ античника С. И. Ковалева аспирант-комсомолец И. И. Смирнов, в будущем крупный ученый, писал: «Попытка С. И. Ковалева может быть расценена как попытка теоретического разоружения пролетариата в его борьбе за завершение построения фундамента социалистической экономики» [2]. В острых поединках сталкивались не аргументы, основанные на документах, а тезисы.

И уже проникаешься искренним негодованием на бесцеремонных пришельцев в храме науки, как вдруг вспоминаешь, что подавляющее большинство их ожидал мученический конец — в подвалах многочисленных лубянок, в гулаговских «мрачных пропастьях земли», а тех, кто уцелел — страх на всю оставшуюся жизнь. Да и были эти начинающие марксисты, «красные профессора» еще совсем молодыми людьми, чаще всего из вполне благополучных, интеллигентных семей. В яростном наступлении на ценности отцов они искренне хотели причаститься к рабочему классу, искупить вину (достаток родителей, спокойную учебу в гимназиях, в то время, когда дети рабочих недоедали, в лучшем случае заканчивали четырехклассные городские училища). Так не будем же слишком строгими судьями тем, кому выпал жребий остаться навсегда молодыми. Не одобряя их действий, поостережемся спрашивать по всей строгости закона. Тем более, что у них был наставник — Михаил Николаевич Покровский.

С фотографии смотрит классическое лицо старого профессора: длинная седая борода, высокий, удлинённый лысиной лоб, очки, некоторая интеллигентская сутулость. Да и начало жизненного пути — типичное для будущего профессора. Сын статского советника, он после окончания Московского университета был «оставлен для приготовления к профессорскому званию» (по-нынешнему, аспирантура), преподавал на Высших женских курсах, печатался в обычных либеральных изданиях и даже вошел в типично «профессорский» Союз освобождения, ядро будущей кадетской партии.

Революция 1905 г. прервала размеренную жизнь тридцатисемилетнего приват-доцента. Он вступает в большевистскую партию, работает в большевистской печати, участвует в 1907 г. в V съезде РСДРП (б), избирается кандидатом в члены ЦК. За границей, куда он был вынужден эмигрировать после поражения революции, М. Н. Покровский написал пятитомный труд «Русская история с древнейших времен», в котором попытался создать марксистскую схему отечественной истории. Вряд ли стоит удивляться тому, что именно М. Н. Покровский — единственный историк-профессионал среди большевиков — официально стал главой советской исторической науки. Сколько постов он занимал одновременно! Заместитель наркома просвещения, президент Коммунистической академии, директор Института истории Комкакадемии и Института красной профессуры, руководитель Центрархива, председатель Общества историков-марксистов, редактор сразу трех журналов — «Историк-марксист», «Красный архив» и «Борьба классов».

Блестяще одаренный человек. Его работы написаны ярко, местами хлестко, читаются легко и с интересом, в них чувствуется нестандартная, живая мысль. Но М. Н. Покровский никогда не был в строгом смысле слова исследователем. Начав как популяризатор, он сразу пере-

шел к созданию концепций, широких обобщений. Знал он, конечно, много, но его эрудиция — это эрудиция знатока, а не исследователя. Когда знакомишься с трудами М. Н. Покровского, возникает впечатление, что их автор искал у своих предшественников и в источниках факты, подтверждающие уже сложившиеся у него формулы. Так открывался путь к тому, чтобы историк стал слугой идеологии и тем самым перестал быть ученым.

«Русская история с древнейших времен» задумывалась как вызов официально признанной университетской науке начала XX в. Принужденный покинуть родину, погруженный в перипетии революционной и внутрипартийной борьбы, М. Н. Покровский заразился вирусом презрения к либералам, к тем, кто вел спокойный, размеренный образ жизни и из университетской аудитории шел в архив, а возвращался в уютную профессорскую квартиру.

Ученые-немарксисты остались для него врагами и после революции. В книгу, рассчитанную на самого широкого читателя, М. Н. Покровский включил раздел историографии, уже в самом названии которого («Как и кем писалась русская история до марксистов») чувствовалась пренебрежение к этим «отставшим от жизни» людям. Оказывается, «им нужно было доказать, что государство в России не было созданием господствующих классов и орудием угнетения всей остальной народной массы, а представляло собою общие интересы всего народа, без различия классов. В основе «научной» теории лежала, таким образом, практическая потребность буржуазии. Университетская наука была для этой последней одним из способов господства над массами» [3]. То есть, по мнению М. Н. Покровского (не на собственном ли опыте основанном?), историк выдвигает ту или иную концепцию не потому, что так требуют факты, а потому, что так «нужно». Умонастроения такого рода, если учесть к тому же высокие посты М. Н. Покровского и его людей, создавали почву для прямых гонений на тех ученых, которые не захотели отказаться от своих научных взглядов. В 1928 г. М. Н. Покровский писал: «Во-первых, в нашей науке специалисту-немарксисту грош цена. А во-вторых, вы можете быть уверены, что если оный специалист вместо мягкой каши увидит перед собой твердый сомкнутый фронт, он сейчас же вспомнит, что еще его дедушка в 1800 г. был марксистом» [4]. Ему вторил другой «марксист» — С. Н. Быковский, предлагавший по отношению к тем, кто «марксистски мыслить не может», применять «методы более сильные, чем разъяснение и убеждение» [5].

Итак, марксизм должно внедрять насильственно. И внедряли. Вместо «мягкой каши» историки-немарксисты в 1930 г. увидели перед собой «твердый сомкнутый фронт» следователей ГПУ. Именно тогда было грубо состряпано дело группы «буржуазных историков». (Большинство среди них — специалисты по средневековой России). В тюремных камерах оказался цвет отечественной науки — академики Сергей Федорович Платонов, Евгений Викторович Тарле, Матвей Кузьмич Любавский, Николай Петрович Лихачев, члены-корреспонденты Юрий Владимирович Готье, Алексей Иванович Яковлев (его не спасла и давняя близость к семье Ульяновых: Илья Николаевич был дружен с отцом Алексея Ивановича). Из среднего поколения — Михаил Дмитриевич Приселков, Сергей Владимирович Бахрушин, Борис Александрович Романов, Иван Александр-

рович Голубцов, Александр Игнатьевич Андреев, Алексей Андреевич Новосельский, Иван Иванович Полосин. И совсем еще начинающие — такие, как будущий академик Лев Владимирович Черепнин. Всех переписать невозможно. Это был настоящий погром.

Арест идейных противников вызвал ликование у членов Общества историков-марксистов. В своей резолюции они заявляли: «Где кончается «несогласие с марксизмом» и начинается прямое вредительство, различить становится все менее и менее возможным. Каждого антимарксиста (великолепная логика: тот, кто не марксист, уже антимарксист! — В. К.) приходится рассматривать как потенциального вредителя» [6]. А сам М. Н. Покровский с палаческой иронией говорил: «В дальнейшем нам уже не пришлось заниматься отечественными буржуазными историками, ибо наиболее крупные из них были уже разоблачены, а о других взяли на себя попечение соответствующие учреждения» [7].

Впрочем, без врагов советские марксисты жить не могли. В их лагере вскоре после расправы с «буржуазными» учеными развернулась борьба с уклонами, столь же жесткая и крикливая. Научные дискуссии М. Н. Покровский представлял себе исключительно как уничтожение (хотя бы моральное) оппонентов. «Если нам нужно ликвидировать кулака как класс, то нам надо ликвидировать и кулацкую идеологию, т. е. народническую, которая выродилась в кулацкую» [8]. Речь шла не только о бывших народниках, но и об историках-коммунистах, имевших неосторожность думать о народниках по-своему. И далее: «... если человек встанет рядышком с представителем народнической идеологии в чистом виде, и мы начнем этого представителя народнической идеологии дубасить, то мы попадем, конечно, и не тому, кто стоит рядом. Не стой рядом, не смущай публику, потому что если стоишь рядом, то у всякого получится впечатление, что ты ему друг и союзник» [8, с. 19]. М. Н. Покровский советует в этом случае отойти в сторону или, еще лучше, перейти в его стан, «потому что нейтральных мы тоже будем бить!». И чтобы не оставалось никаких кривотолков, академик подытоживает: «В этом смысл тех дискуссий, которые мы провели за последнее время» [8, с. 19].

Главное, что вменялось в вину арестованным историкам, — русский великодержавный шовинизм и приверженность монархии. Что ж, М. К. Любавский, Н. П. Лихачев, С. Ф. Платонов были, судя по всему, действительно монархистами. Но от монархических убеждений до монархического заговора — дистанция огромного размера, а репрессированные ученые занимались только своей наукой.

Не миф и существование в царской России великодержавного шовинизма. Однако шовинистами арестованные не являлись. В их работах можно встретить некоторое преувеличение положительной роли государства, какие-то элементы «имперского сознания». Неприязнь к другим народам? Нет. Ни грана шовинизма не замечал я и у тех из них, с которыми мне приходилось общаться в более поздние годы — у И. И. Полосина, С. В. Бахрушина, А. А. Новосельского, Л. В. Черепнина.

Дело же обстояло так. Борясь с шовинизмом, М. Н. Покровский впал в другую крайность — национальный нигилизм. Вот его «Русская история в самом сжатом очерке», вышедшая только при жизни автора.

десятью изданиями. По этой книге учились в 20-х — начале 30-х годов все школьники и студенты. Что мог узнать из нее читатель, скажем, об Отечественной войне 1812 г.? Из приложенных к книге «синхронистических таблиц» — что это всего лишь «так называемая "Отечественная война"». А из основного текста следующее: «Дворянству и стоявшему за его спиной торговому капиталу, еще больше, конечно, недовольному прекращением английской торговли, в конце концов и удалось-таки добиться своего: в 1812 г. Россия вновь разорвала с Францией (а не наполеоновская Франция напала на Россию? — В. К.), наполеоновская армия после своего последнего успеха — взятия Москвы — замерзла в русских снегах (а что делали такие полководцы, как Кутузов и Барклай? — В. К.), против Наполеона образовалась новая, последняя, самая страшная коалиция, и английский промышленный капитализм мог наконец торжествовать полную победу» [3, с. 249]. В многотомной же истории М. Н. Покровский не пожалел сарказма, рассказывая о героях войны. Так, Багратиона он называет «хвастливым воином», «на которого в петербургских и московских салонах чуть не молились» [9].

Беда не в том, что один из историков полностью исключал роль национального фактора и сводил все общественные процессы к развитию экономики и революционного движения. Когда в России выходили один за другим пять томов «Русской истории...», написанной эмигрантом М. Н. Покровским, одновременно печатались работы и других направлений — и либерального, и охранительного (черносотенного). Беда случилась позже: когда взгляды одного стали навязываться всем, когда всякая иная точка зрения стала преследоваться как контрреволюционная и шовинистическая.

Хочу быть правильно понятым. И шовинизм, и национальный нигилизм в равной степени противопоказаны исторической науке. Полтора столетия тому назад один генерал, кстати, отличившийся настоящей храбростью в Отечественной войне 1812 г., говорил: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот ... точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема» [10]. Звали генерала Александр Христофорович Бенкендорф и занимал он, как известно, должность шефа жандармов. А в те же годы другой военный, правда, куда меньший чином, написал горькие строки: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...». Так кто же был настоящим патриотом — поручик Лермонтов или генерал Бенкендорф? (Помимо всего прочего поражает уверенность жандармского генерала в том, что он знает, с какой точки зрения «русская история должна быть рассматриваема!»).

Увы, постепенно псевдопатриотизм бенкендорфского толка стал превращаться в официальную доктрину. В 1930 г., когда М. Н. Покровский и его рьяные ученики громили уже арестованных «буржуазных» историков, до такого поворота, казалось, не дойдет, однако до разгрома «школы Покровского» оставалось ждать недолго. Правда, сам М. Н. Покровский успел умереть в почете (в апреле 1932 г.). Похороны красного академика состоялись на Красной площади, все газеты опубликовали сообщение ЦК ВКП(б), в котором покойного называли «всемирно известным ученым-коммунистом, виднейшим организатором и руководителем

нашего теоретического фронта, неустанным пропагандистом идей марксизма-ленинизма». Имя Покровского присвоили сразу двум высшим учебным заведениям — Московскому университету и Московскому историко-архивному институту.

Но вот прошло два года. 16 мая 1934 г. вышло совместное постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школе». На первый взгляд, ничего плохого. В самом деле, восстанавливались закрытые до этого исторические факультеты университетов и педагогических институтов. А что дурного в предписании преподавать историю «в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности» и отказаться, наконец, от подмены истории «отвлеченными социологическими схемами»? Казалось, наверху одумались, наконец-то в душную атмосферу проник свежий воздух. Но это был декретированный свежий воздух. После команды «вольно!» очень скоро последовали, как и бывает в строю, новые команды: «смирно!», «равняйся!» и «кругом!».

Наука не может жить по приказу. Если же имеющий власть приказывает ходить на четвереньках и лаять, то вряд ли стоит его благодарить за отмену собственного приказа. Ничто не помешает ему назавтра приказать ходить задом наперед и мяукать. Такой порядок, при котором принято что-то одно (и только одно!), а завтра что-то другое, возможно, противоположное (но тоже только одно!), был характерен не только для руководства наукой. (Написал и подумал, до чего привычной стала для нас эта нелепица — руководство наукой. Как можно наукой руководить?). Нет, кампании заполняли всю жизнь общества. Еще в 1925 г. Маяковский по поводу очередной кампании негодовал: «Поймите ж — лицо у меня одно — оно лицо, а не флюгер». Но власть мечтала, чтобы ученый, писатель, художник стали именно флюгерами. Как руки царя Мидаса умерщвляли все, к чему он прикасался, так и лучшие, на первый взгляд, постановления умерщвляли все живое, даже тогда, когда вроде бы боролись с мертвечиной.

Итак, в 1934 г. партия и правительство приказали впредь изучать в школе историю последовательно. Нет учебников? Не беда, приняли решение собрать историков в бригады и поручить им немедленно написать учебники. Для начала — конспекты. Вот только высокой партийно-правительственной комиссии конспекты не понравились. Выводы были изложены в любопытном документе — «Замечания товарищей Сталина, Кирова и Жданова», написанном в августе 1934 г. Ни один из трех «товарищей» не являлся историком-профессионалом, ни один не написал даже популярной статьи по истории, но суждения их тем не менее звучали резко и определенно. Об ошибках М. Н. Покровского в «Замечаниях» пока не говорилось, но подвергались критике многие положения, заимствованные авторами конспектов у М. Н. Покровского. «Замечания» оставались еще полтора года неопубликованными. Только в январе 1936 г., когда было издано новое постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) «О преподавании истории в школе», в печати появились «Замечания» Сталина, Кирова и Жданова. «Школа Покровского» в новом постановлении осуждалась, причем столь же безоговорочно, сколь и неаргументированно. «То обстоятельство, что авторы указанных учебников продолжают настаивать на неоднократно уже вскрытых партией и явно несостоятельных историче-

ских определениях и установках, имеющих в своей основе известные ошибки Покровского, Совнарком и ЦК не могут не расценивать, как свидетельство того, что среди некоторой части наших историков, особенно историков СССР, укоренились антимарксистские, антиленинские, по сути дела ликвидаторские, антинаучные взгляды на историческую науку». И далее: «Эти вредные тенденции и попытки ликвидации истории как науки связаны в первую очередь с распространением среди некоторых наших историков ошибочных исторических взглядов, свойственных так называемой "исторической школе Покровского"» [11].

Обращает на себя внимание не только то, что впервые открыто, на официальном уровне осуждались взгляды М. П. Покровского. Буквально каждое слово, каждое выражение постановления — яркое свидетельство того, какие представления о роли историка существовали у власть имущих. Из постановления следует, что именно партия, а точнее, Политбюро определяет, какие воззрения на сущность феодализма и на восстание декабристов, на Киевскую Русь и на Смутное время являются научными, а какие — антинаучными. Настаивать на уже «вскрытых» определениях и установках — непростительный грех. Но это в тексте. Подтекст же интереснее. Партия «вскрывает» заблуждения историков, они, следовательно, либо сами не понимают, что пишут, а лидеры открывают им глаза, либо тщательно маскируют свое антиленинское нутро. Заняты же историки не исследованиями (этого просто не могут понять Сталин и его люди), а тем, что создают «установки».

Установка на установки оказалась удивительно живучей в общественном сознании. Сколько раз я терялся, не зная, как ответить па вопрос из аудитории: «А какова официальная точка зрения на ... (Ивана Грозного, Ивана Калиту, Лжедмитрия и др.)?» Как часто слышишь требования учителей: «Дайте нам четкие указания, как преподавать. А то в одних статьях читаешь одно, в других — другое». Насильственное внедрение установок привело сегодня к тоске по ним.

И еще один момент. В постановлении говорилось об «известных ошибках Покровского». Кому они известны? Не тем ли, кто принимал постановление, а за четыре года до этого с почестями провожал его в последний путь на Красной площади: Сталину, Молотову, Ворошилову, Калинин, Андрееву? Если взгляды покойного были антиленинскими, то не виновны ли в том, что они не были «вскрыты» до сих пор, члены ЦК, а не историки — ученики Покровского? Попробовал бы еще в 1932 г. кто-нибудь из историков-коммунистов сказать о М. Н. Покровском десятую долю того, что теперь писал о нем ЦК, в лучшем случае его бы исключили из партии как врага ленинизма. Да, вчера было принято одно, сегодня — другое.

Прошло немного времени, и носители «антиленинских» взглядов один за другим попадают в тюремные камеры, в лагеря, погибают от пуль энкаведешных палачей. Их клеймят уцелевшие коллеги: «Прикрываясь антиленинскими взглядами М. Н. Покровского, многие представители этой «школы», ныне разоблаченные троцкистско-бухаринские наймиты фашизма, разваливали исторический фронт, ведя вредительскую и контрреволюционную работу в научных учреждениях...» [11].

14 ноября 1938 г. публикуется новое постановление ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском "Краткого

курса истории ВКП(б)», в котором, в частности, говорилось: «В исторической науке до последнего времени антимарксистские извращения и вульгаризаторство были связаны с так называемой "школой" Покровского...». А через некоторое время появился любопытный двухтомник: первый том (1939) назывался «Против исторической концепции М. Н. Покровского», второй (1940) — «Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского». Любопытен он составом авторов. Здесь и чудом уцелевшие ученики М. Н. Покровского, предающие анафеме своего учителя: будущие академики А. М. Панкратова и М. В. Нечкина, А. Л. Сидоров, вернувшиеся недавно из ссылки С. В. Бахрушин, В. И. Пичета, А. Н. Насонов и случайно оставшиеся на свободе ученые старой школы — К. В. Базилевич, С. В. Юшков. Особняком стоит академик Борис Дмитриевич Греков.

Историк старой школы (1917 г. он встретил 35-летним приват-доцентом Петербургского университета), отпрыск древнего казачьего дворянского рода, Борис Дмитриевич, естественно, не был в восторге от революции и в 1918 г. оказался в Крыму, занятом войсками белых. Однако он не сел на пароход, увозивший белогвардейцев в Турцию, а в 1921 г. вернулся в Петроград. Неблагодарное занятие гадать о мотивах поведения человека. Но не может не удивлять та быстрота, с которой Б. Д. Греков адаптируется к новым условиям жизни. Уже в 1926 г. он становится депутатом Ленинградского Совета. Его почти не затронули репрессии 1930 г. (он был арестован, но еще в ходе следствия признан невиновным и освобожден), а в 1932 г. профессор Б. Д. Греков уже выступает как основной докладчик на научной сессии, посвященной общественному строю Древнерусского государства, с докладом «Рабство и феодализм в Киевской Руси». В нем он клянется (уже не в первый раз) в верности марксизму. Недаром М. Н. Покровский благосклонно отзывался о трудах Б. Д. Грекова как о показателе «стихийной тяги к марксизму русских историков буржуазного происхождения» [3, с. 307].

Возможно, благодаря этому сочетанию — профессионализма, идущего от старой школы, открытого принятия марксизма и отсутствия прямых связей со школой Покровского — Б. Д. Греков совершил неожиданный взлет: в 1934 г. он избирается членом-корреспондентом АН СССР, уже на будущий год — академиком, а после ареста в 1937 г. старого большевика Н. М. Лукина возглавляет Институт истории АН СССР. Впоследствии Б. Д. Греков являлся директором Института славяноведения (не оставляя директорство в Институте истории), академиком-секретарем Отделения истории Академии наук СССР, депутатом Верховного Совета РСФСР.

В трудах Б. Д. Грекова поражает явное противоречие: с одной стороны — широкая эрудиция и высокая профессиональная культура, с другой — схематизм выводов, точно укладывающихся в прокрустово ложе формационного учения в том виде, в каком оно излагалось в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Один историк, работавший в довоенные годы под руководством Б. Д. Грекова, рассказал мне, как Б. Д. Греков спрашивал его наедине: «Вы же партийный, посоветуйте. Вы должны знать, какая концепция понравится Ему». И показывал на портрет Сталина, висевший на стене кабинета. Прав Леонид Мартынов: «Из смирения не пишутся стихотворения». И научные труды тоже. Не потому ли боль-

шинство концепций Б. Д. Грекова не принимает сегодняшняя историческая наука?

Но вернемся к сборнику. Надо сказать, Анна Михайловна Панкратова и Милица Васильевна Нечкина, разоблачая, как было приказано, учителя, постарались смягчить посмертный удар. Так, А. М. Панкратова постоянно отделяет личность М. Н. Покровского от его взглядов, а деятельность его самого от деятельности подопечных — «лжеисториков», которые «под флагом теоретических и исторических «дискуссий»... нередко протаскивали прямую троцкистскую контрабанду» [12]. А. М. Панкратова признает, что критика концепции М. Н. Покровского и его исторических взглядов для его бывших учеников должна быть и самокритикой и в сноске честно ссылается на собственную статью «М. Н. Покровский — большевистский ученый», опубликованную в 1932 г. Она не раз подчеркивает, что М. Н. Покровский после революции «стал советским ученым, одним из организаторов советского просвещения и советской науки» и, порвав в 1918 г. с «левыми коммунистами», «остался верен делу социалистической революции» [12, с. 35]. А. М. Панкратова даже решила отметить отдельные заслуги М. Н. Покровского: «Многие общепринятые в буржуазной науке точки зрения М. Н. Покровский оспорил, в другие внес важные дополнения и поправки, некоторые вопросы вообще разработал впервые ... Плодотворным для дальнейшего изучения русской истории было и то, что в «Русской истории» Покровского резче, чем раньше, ставились вопросы классовой борьбы» [12, с. 36]. Вина М. Н. Покровского, по ее мнению, состояла не в злонамеренности. Хотя «в последние годы своей жизни он стал частично на путь самокритики своих прошлых ошибок и своих исторических взглядов», этот процесс остался незаконченным, ибо «он слабо работал «пылесосом» и недостаточно «проветривал» все уголки своего мировоззрения» [12, с. 38].

В отличие от А. М. Панкратовой, М. В. Нечкина предпочла не упоминать, у кого она училась, но все же в одной из двух статей (в сборнике ее перу принадлежат две) рискнула написать, что М. Н. Покровский впервые поставил вопрос о «влиянии восстания Пугачева на последующую политику правительства» и добавить: «Это является его заслугой» [12, с. 275].

Однако главная задача учениц М. Н. Покровского, как и других авторов сборника, заключалась в показе не столько ошибочности, сколько политической вредности взглядов «антимарксиста». Что ж, он мог бы гордиться своими учениками, они хорошо усвоили его основные уроки: история — наука политическая, партийная, а указания ЦК должно беспрекословно выполнять, как приказы командира на фронте. Недаром сам он чаще говорил «исторический фронт», чем «историческая наука».

На первый взгляд, еще более грустное впечатление производят статьи тех ученых старой школы, которых еще несколько лет тому назад предавали анафеме, сажали. Неужели они не испытывали чувства неловкости за то, что им удалось взять реванш при помощи тех же методов, какие применялись против них? Неужели никто из них не понимал, что пляшет радостный танец на костях поверженных врагов? Что научная дискуссия снова оканчивается за решеткой?

Не берусь судить этих людей — у многих из них учился и сохранил о них благодарную память. Но не только поэтому. Просто нужно понять

их психологию. Одни недавно вернулись из ссылки, не реабилитированные, а лишь помилованные. Другие понимали, что чудом избежали ареста. Трагедия 37-го показала: путь в лагерь никому из них не заказан. Старая пословица, советующая не зарекаться от тюрьмы, никогда не была так актуальна, как в те годы.

Однако и страхом все не объяснишь. Вчера они еще были гонимы, каждое слово, сказанное или написанное ими, трактовалось как улика. Сегодня их гонители осуждены и прокляты. Вчера еще считались крамоллой рассуждения, что в старой России не все было плохо, что не только звон цепей и свист кнута характеризовали ее жизнь. Сегодня уже говорят и пишут об исторических заслугах русского народа, а их умаление становится «вражеской вылазкой». Недаром Б. Д. Греков в заключительной части своей статьи в сборнике обвинял М. Н. Покровского в том, что тот «сыграл на руку тем, кто хотел видеть в России варварскую страну, создавшуюся где-то на варварском северо-востоке, не имеющую права включаться в число европейских государств». И приходил к выводу: «Отрицание факта существования Киевского государства (на самом деле М. Н. Покровский лишь разошелся с Б. Д. Грековым по вопросу о характере государственной власти в Киевской Руси — В. К.) лишает нас сильного оружия в борьбе с извращениями прошлого народов нашего Союза» [12, с. 116]. Конечно, многие авторы сборника понимали: это уже перефраз, ведь та или иная оценка социального и политического строя Руси IX—XII вв. не может быть «на руку» или «не на руку» неким «врагам»; во всяком случае, не от того, кто может использовать исторические факты в своих целях, зависит историческая истина. Но эти преувеличения казались несущественными, извинительными по сравнению с тем походом против всего национального, который возглавили М. Н. Покровский и его ученики всего лишь несколько лет тому назад.

Да и можно ли было не радоваться тому, что из бесправных политических ссыльных они превратились теперь в почетных и уважаемых профессоров, за статьями которых охотятся редакции, чьим словам внимают студенты. Трудно отказаться от реванша, трудно не порадоваться посрамлению тех, кто некогда лишил тебя доброго имени и отправил в тюрьму. И люди, великолепно знавшие историю, в том числе распространенность известного мифа о добром царе и дурных боярах, легко поддались на уговоры, что «дурные бояре» сгинули в 1937—1938 гг., а «добрый царь» — великий и мудрый товарищ Сталин — восстановил поправленную справедливость. Недаром, когда умер С. В. Бахрушин (через 20 лет после ареста), то прощание с академиком Академии педагогических наук, членом-корреспондентом АН СССР, лауреатом Сталинской премии, заслуженным деятелем науки РСФСР, награжденным орденом Трудового Красного Знамени и медалями, руководителем сектора произошло в ведущем научном учреждении — в Институте истории АН СССР.

Так почему же не устроили Сталина покорный М. Н. Покровский и его ученики? Прав американский историк Дж. Энтин, когда возражает против мнения, будто «Покровский символизирует противостояние Сталину» [13]. Дж. Энтин прав и тогда, когда подчеркивает, что и Сталин, и Покровский «придерживались взгляда, что наука в правильном понимании является боевым оружием в политической борьбе», что от Покровского «Сталин умел добиваться... худшего, на что он был способен» [13,

с. 159]. И все же М. Н. Покровский и его ученики никогда не считали Сталина четвертым классиком марксизма-ленинизма, не вводили его сочинения в корпус своего священного писания. Превознося Сталина как вождя партии, как мудрого руководителя, они в своих теоретических спорах не приводили цитат из его произведений. Но это не такой уж серьезный грех, научились бы. Тем более, что те из учеников Покровского, которым дозволили покаяться и остаться в исторической науке, стали цитировать Сталина исправно. Как, впрочем, и все остальные, иначе работа просто не вышла бы в свет.

Но была еще одна, куда более существенная причина осуждения М. Н. Покровского — его концепции не соответствовали новой идеологической ситуации. С середины 30-х годов официальная пропаганда делает резкий поворот — от мессианства («мировая революция») к имперскому мышлению («великий русский народ»). Прославление «ленинско-сталинской дружбы народов нашей страны» на практике сочеталось с неумеренным восхвалением одного народа как «старшего брата» и тем самым унижением других народов. Колониальную политику царизма, захватнические войны, освободительные движения народов Российской империи начинали постепенно замалчивать, а Советский Союз все чаще стал рассматриваться в качестве наследника старой России. Кульминацией этого поворота стало время Великой Отечественной войны. С одной стороны, пресса и радио твердили об участии в защите Родины воинов всех национальностей, с другой — о подвиге именно русского солдата. В выступлении на Красной площади 7 ноября 1941 г. Сталин призвал советских воинов вдохновляться образами великих предков и перечислил исключительно русских полководцев — от Александра Невского до Кутузова. Ни украинские, ни грузинские, ни армянские, ни какие бы то ни было другие «великие предки» не назывались. А накануне, 6 ноября, выступая с докладом о годовщине Октябрьской революции, Сталин опять-таки говорил о «нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова», то есть только о деятелях русской культуры. Рузвельту и Черчиллю Сталин не случайно чаще писал о «русской», а не о «советской» точке зрения.

Смена вех была вызвана несколькими причинами. Несомненно, определенную роль сыграло стремление Сталина накануне войны, в условиях, когда стало ясно, что мировая революция не состоится, использовать в качестве объединяющей народ идеи патриотизм, а не мессианство. В этом есть свой резон. Но правильный ли путь к сердцам людей избрал главный специалист по национальному вопросу? «Великому русскому народу» льстили, надеясь, что он сможет забыть и простить ужасы коллективизации и раскулачивания, голода начала 30-х годов, жесткие расправы с людьми, тотальную слежку. Национальные же чувства других народов страны, не удостоившихся эпитета «великий», диктатор игнорировал.

Думается, не националистическая пропаганда, а реальное понимание смертельной опасности, надвинувшейся на всю многонациональную страну, ненависть к фашистам, для которых все народы нашей страны являлись «низшей расой», объединили народы Советского Союза, которые и сумели вместе разгромить гитлеровскую Германию. Быть может, слова

эти покажутся казенными. Но что поделаешь? Даже затасканные официальной пропагандой, они отражают реальность.

Не менее существенной была ставка Сталина на преемственность между царской Россией и своим режимом. Ему импонировали и самодержавие, и особенно наивный монархизм масс, обожевление государя. Недаром вождю понравилась книга Е. В. Тарле «Наполеон» о революционном генерале, ставшем «императором Французской республики». Не скрывавший, несмотря на множество оговорок, преклонения перед сильной личностью французского диктатора, академик Е. В. Тарле был не только прощен, но стал одним из самых влиятельных советских историков. Хорошо помню его на кафедре, в пиджаке, украшенном несколькими медалями лауреата Сталинской премии. Правда, потом, в конце 40-х годов, и он стал мишенью проработки (во-первых, «нерусская» фамилия звучала теперь одиозно, а во-вторых, тот самый Е. В. Тарле, кого в 1930 г. обвиняли в русском шовинизме, теперь оказался недостаточно националистичен: ныне Наполеона надлежало изображать только черной краской). Но это, повторяю, произошло в конце 40-х годов, а тогда, восхищавшийся успехами молодого Наполеона Сталин планомерно использовал для укрепления административно-командной системы опыт аппарата самодержавия. Не зря красные командиры превращаются в офицеров и генералов, а наркомы в министров, на плечах военных, железнодорожников, юристов и даже дипломатов появляются погоны (а ведь совсем недавно в ходу было презрительно словечко «золотопогонник!»), форма одежды в армии и флоте начинает подозрительно напоминать царскую, а суворовские училища в 1943 г. предписывалось создавать по образцу кадетских корпусов.

В учебниках, выпущенных до войны, честно писали о завоевательной политике царизма. Правда, еще в конце 30-х годов стали говорить, что завоевание Россией было для народов окраин Российской империи «наименьшим злом». В этом утверждении иногда имелась доля истины. Но только иногда. В послевоенные же годы шовинистическая кампания усилилась, «наименьшее зло» отброшено, а в ход пушена универсальная и в большинстве случаев лживая формула «добровольное присоединение». Народные движения, направленные против царского колониализма, стали рассматривать как антирусские и реакционные.

Пожалуй, самый яркий пример такой фальсификации — оценка борьбы горцев Кавказа под руководством Шамиля. В тех учебниках истории, но которым я учился в школе, Шамиль изображался как герой без страха и упрека (что было тоже преувеличением), вождь освободительной борьбы (что было правдой). Но вот в 1950 г. происходит внезапный и резкий поворот. Азербайджанский ученый Г. Гусейнов, получивший Сталинскую премию за книгу по истории азербайджанской философии, был ее лишен через несколько месяцев, поскольку в своей монографии положительно писал о Шамиле. Вслед за тем в журнале «Большевик» появилась статья первого секретаря ЦК КП(б) Азербайджана М. Д. Багирова (впоследствии расстрелян как сообщник Л. П. Берии), в которой Шамиль назывался агентом Англии и Турции [14]. Тем самым одновременно оправдывалось преступное выселение с Кавказа чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев. Тут же многие историки начали молниеносную перестройку. С. К. Бушуев, защитивший в свое время кандидат-

скую и докторскую диссертации об освободительном движении Шамиля, выпустивший на эту тему книгу (ее, кстати, осудил в своей статье М. Д. Багиров), начал страстно разоблачать Шамиля и «реакционную сущность мюридизма». Когда в 1956—1957 гг. на волне XX съезда КПСС был поднят вопрос о возвращении к оценке движения Шамиля как национально-освободительного, то именно С. К. Бушуев сопротивлялся этому больше всех.

В 1949 г. развернулась «борьба с космополитизмом». Началась она редакционной статьей «Правды», озаглавленной «Об одной антипатриотической группе критиков». Речь шла о тех, кому не понравились откровенно бездарные пьесы А. Сурова и А. Софронова. А вскоре «безродных космополитов» и «антипатриотов» начали выискивать и «разоблачать» повсюду. Слово «космополит» эвфемистически заменяло слово «жид». Хорошо помню ход этой кампании на историческом факультете МГУ, где я тогда учился. Как сейчас вижу стенгазету с карикатурами на профессоров и доцентов со статьей доцента М. И. Стишова «Главарь космополитов», посвященной академику И. И. Минцу, заведовавшему кафедрой истории СССР.

О стиле обвинений дает представление текст из журнала «Вопросы истории» за 1949 г.: «Историческая наука является одним из участков идеологического фронта, на котором кучка безродных космополитов пыталась вести свою вредную работу, распространяя антипатриотические взгляды при освещении вопросов истории нашей Родины и других стран» [15].

Разумеется, главный удар пришелся по историкам, занимавшимся советским периодом и новейшей историей. Но пострадали и другие, например, Николай Леонидович Рубинштейн — человек большого таланта, один из тех немногих, читая труды которых, ощущаешь личность автора. Его перу принадлежали фундаментальные и острые работы по социально-экономической истории России XVIII в. Мишенью же для нападок стала опубликованная еще перед войной книга «Русская историография», первая обобщающая советская работа по истории русской исторической науки. Даже сегодня, хотя с момента ее выхода прошло уже полвека, она не потеряла научного значения. А вот в отчете о «проработке» в «Вопросах истории» утверждалось: «Н. Л. Рубинштейн пишет, что историческая наука в России не существовала как самостоятельная наука. Основоположниками исторической науки в России он считает немцев Миллера, Байера, Шлецера и др. Н. Л. Рубинштейн принижает русскую культуру, заявляя, что она плелась в хвосте восточной и западно-европейской. Он принижает марксистскую историческую науку перед буржуазной» [15].

Не помогла и вынужденная самокритика. «Профессор Н. Л. Рубинштейн,— читаем в том же отчете,— в своем выступлении сделал попытку признать свои космополитические антипатриотические ошибки... но сделал это непоследовательно. Он заявил, что взялся за работу, которая ему не под силу, он не только не сумел по-ленински переработать наследство буржуазной историографии, но, наоборот, сам оказался в плену у нее ... Таким образом, всю свою многолетнюю порочную практику в научной и педагогической деятельности проф. Рубинштейн свел только к отдельным «грубым ошибкам» объективистского характера, тогда как

на самом деле его пороки коренятся не в отдельных ошибках, а в законченной системе взглядов, в концепции, чуждой марксизму-ленинизму» [15].

Трагична судьба ученого, безвинно подвергнутого публичному поношению. Но беда не только в этом — в общем климате жизни в науке. Как отзывались все эти события на судьбе научной молодежи! От студентов и аспирантов требовали отмежевываться от своих учителей. Помню одного студента, ученика Н. Л. Рубинштейна. На комсомольском собрании его заставляли выступить с разоблачением своего учителя. Студент растерянно ответил, что критике подвергают труд по историографии, семинар же, в котором он занимался, был посвящен экономике XVIII в., а в этой области он никаких антимарксистских взглядов у Н. Л. Рубинштейна не заметил. Результат? Разгромная статья в стенгазете о беспринципности комсомольца, защищающего космополита.

Увы, другие ученики отличались меньшей шепетильностью. Вспоминаю, например, «обсуждение» учебника истории СССР для неисторических факультетов, написанного М. Н. Тихомировым (тогда — членом-корреспондентом АН СССР, впоследствии — академиком) и С. С. Дмитриевым. Авторы обвинили в «буржуазном объективизме», его приписывали тем, кто пытался честно изучать исторические источники и делать на их основе выводы (при условии, что не имели отягчающего «пятого пункта» в анкете). Это было менее опасно, чем «безродный космополитизм», но все же сулило немало неприятностей. Один за другим поднимались на трибуну профессора, доценты, аспиранты и даже студенты и обличали грубые политические ошибки в учебнике. Один из дипломников М. Н. Тихомирова (он умер почтенным профессором), участник войны, член партбюро факультета сокрушенно-умиленным голосом говорил: «Нам, ученикам Михаила Николаевича, было тяжело и больно читать в его книге... Михаил Николаевич учил нас не этому...».

О, это умелое отмежевание: раз «учил нас не этому», значит не ученик-член ВКП(б) утратил бдительность, а просто профессор умело маскировался.

Навсегда запомнилось заключительное слово М. Н. Тихомирова. Он вроде «признавал ошибки, но признав, коршуном налетал на своего критика, уничтожал его иронией: «Вот профессор Н. Н. говорит, что у меня неверно написано о том-то. Конечно, неверно. А как я мог написать верно? Ведь профессор Н. Н. уже двадцать лет пишет на эту тему докторскую диссертацию, да все никак не напишет. Вот мы и не знаем, что и как там происходило». Прошелся Тихомиров и по молодым проработчикам: «Здесь выступали некоторые мои ученики. И так складно, бойко они говорили... Приятно слушать было. Наверно, в этом и моя заслуга есть?»

Для многих обличителей учителей это была первая, но, увы, не последняя подлость на их научном пути, подлость сломавшая их как личности, а следовательно, и погубившая их как ученых. А жаль! Среди них были таланты. Но не намного лучше судьба тех, кто до конца своих дней казнил себя за слабость.

А коллеги, нехотя, но все же исправно участвовавшие в разоблачении ученых, в вину которых абсолютно не верили? Не буду брать греха на душу и называть имена, ведь кого-то заставляли это делать. У кого-то

это было минутной слабостью, во многих других ситуациях они держали себя достойно. Как тот, кто не прошел через следственный изолятор, не вправе судить тех, кто дал лживые показания, так и я, бывший во времена борьбы с космополитизмом студентом, не вправе упрекать немолодых людей, хорошо помнивших 37-й год, за те или иные поступки (естественно, если они не взялись с радостью за роль главных громил).

Все эти кампании, проработки, установки ломали научную судьбу не только их жертв и не только разоблачителей. В той или иной степени были искалечены все историки, дышавшие отравленным воздухом тех лет. Как-то Константин Симонов заметил, что если бы незадолго до войны разбился самолет, в котором находились репрессированные в 1937—1938 гг. военачальники Красной Армии, то результаты были бы гораздо менее трагичными: оставшиеся в живых не боялись бы принимать в начале войны самостоятельные решения. Страх совершить ошибку, страх подвергнуться проработке заразил историков. Нередко именно страх, а не изучение фактов определял их научные взгляды. Судорожные поиски Б. Д. Грековым концепции, которая понравится «Ему»,— это не только вина, но и беда, большая человеческая трагедия крупного ученого.

После смерти Сталина пахнуло свежим воздухом. Возможности историков расширились, начались острые дискуссии по прежде запретным темам. И все же рамки дозволенного остались и при Хрущеве, и при Брежневе. Они стали шире, выход за их пределы карался уже не по конвойному принципу: «Шаг вправо, шаг влево, стреляю без предупреждения». Но проработки остались. И опалы на ученых тоже. Впрочем, это уже иная тема.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Сталин И. В.* Соч. Т. 13. М., 1951. С. 38–39.
2. *Валк С. Н.* Иван Иванович Смирнов // Крестьянство и классовая борьба в феодальной России. Л.: Наука. 1967. С. 11.
3. *Покровский М. Н.* Русская история в самом сжатом очерке. М.: Партиздат, 1932. С. 216.
4. *Покровский М. Н.* Историческая наука и борьба классов. М.—Л.: Гос. изд., 1933. С. 33.
5. *Быковский С. Н.* Какие цели преследуются некоторыми археологическими исследованиями // Сообщения Госакадемии истории материальной культуры: Проблемы истории материальной культуры. 1931. № 4–5. С. 21.
6. Историк-марксист. 1930. Т. 15. С. 165.
7. *Покровский М. Н.* О задачах марксистской исторической науки в реконструктивный период // Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 344.
8. *Покровский М. Н.* Очередные задачи историков-марксистов // Историк-марксист, 1930. Т. 16. С. 18.
9. *Покровский М. Н.* Избранные произведения. М.: Мысль, 1965. Кн. 2. С. 222.
10. Очерки исторической науки в СССР. М.: Изд. АН СССР. 1955. Т. 1. С. 318–319.
11. К изучению истории. М.: Госполитиздат, 1946. С. 20.
12. Против исторической концепции М. Н. Покровского. М.—Л.: Изд. АН СССР, 1939. Ч. 1. С. 6.
13. *Эттин Дж.* Спор о М. Н. Покровском продолжается // Вопр. истории. 1989. № 5. С. 154.
14. *Багиров М. Д.* К вопросу о характере движения юридикализма и Шамиля // Большевик, 1950. № 13. С. 21–37.
15. Вопр. истории // 1949. № 2. С. 151–158.

